







Там, среди мха и болотных кочек, можно спрятаться. Переждать одиночество... Я сам отодвинул от себя мир. Еще и заслонку поставил.

садке среднеазиатской толкотне. Рейс задержали минут на сорок. Очередь растянулась до тридцать седьмого выхода. От тридцать девятого. Рядом стоял хорошо одетый коренастый мужичок неопределенно-азиатской национальности. Вокруг него, то и дело наступая мне на ноги, бегали две маленькие девочки, похожие на только что оторвавшиеся от рубашки пуговицы. Папаша посматривал виновато, но ничего не говорил.

Сумерки сохли. Обозначался контур горизонта. Когда совсем рассвело, мы наконец набились в самолет и взлетели.

Гордые и мягкие горы. Тихий вечерний свет (такой случается в опустевших приморских городках: смущенный, нелепый). Зеленые листья. Теплынь. После скользкой московской осени – восточная сказка...

Давно пытаюсь определиться с жанром своей писанины. На прозу в чистом виде не тяну: на недавнем писательском совещании меня с моими окололирическими опусами отправили к критикам. Им я тоже не приглянулся. Ушел к поэтам. Слушать про рифмы, которых у меня нет.

О чем я, собственно?

Давайте по порядку.

Как в школьном сочинении.

Первое. Второе. И компот.

Итак, дорога. В Алма-Ате у входа в аэропорт нас ждала машина. По-писательски. По-советски. Не хватало только лозунгов. О светлом будущем. Лживых и прекрасных лозунгов о земном рае.

Ложь, конечно, никуда не делась, а вот надежда (если таковая была – что я, небывший, могу знать об этом?) высохла слезинкой на детской щеке.

По-советски (читай: по-русски) жить расхотели, а по-своему разучились (или никогда и не умели?).

Наверное, поэтому на алма-атинском Арбате меня взяли менты. Курение – только предлог. На са-

мом деле им моя европейская рожа не понравилась: готовились к предстоящим митингам, зачищали территорию (так это называется?).

Мой друг Амангельды Рахметов, на счастье оказавшийся рядом, вступился. На казахском. Назвал фамилию какого-то майора, номер части, в которой служит, что-то еще.

Менты разозлились: «Зачем ты за этого русского вступился? Он – чужак!»

Но отпустили.

Утром следующего дня, когда в городе начались митинги, у окон отеля простучал берцами целый взвод. С этими не договоришься: замяли бы, как собаки раненого зайца.

Поэт – это заяц. Непременно раненый.

«Крылом спасительным ложится власть государства и семьи...»

Отчего иногда так хочется из-под этого крыла вырваться? Простоять ночь под дождем. На ветру. Истончаясь. Убывая.

Да, главное-то я и забыл сказать: казахские (наверное, и не только казахские) менты похожи на скворцов. Не на наших – горделивых и строгих – на афганских. Здесь их называют майнушками: вороватые, крикливые, всегда держатся в стаях. Нашим, конечно, не чета. Наши скворцы другие. Ранней весной, когда еще не сошел снег, первым теплым мартовским вечером, прилетает скворец-разведчик. Одинокий и старый пионер. Садится на макушку засыхающей березы – тоже одинокой и старой – где-нибудь на оттаявшей дачной окраине. Влажные перья отливают на заходящем солнце. Острый клювик устремлен на юг: свистит. Протяжно, тоскливо. Ждет своих.

Впрочем, очень может быть, что в долинах Заилийского Алатау и афганские скворцы благородны и праведны. Если, конечно, они вообще в горах водятся. Моя юношеская орнитологическая страсть перетекла в спокойную любовь. После долгих лет совместной жизни так нежно, разминая мягкие на языке, произносишь: синица, малиновка, королек.

Но домой не спешишь. Любить лучше издалека. Особенно поздней, как слеза, осенью, когда листья уже облетели, а снег еще не выпал.

Безвременье.

*Ноябрь 2019 года, Воронеж*

